

ИГНАТ ОСЕТРОВ

ЧАС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Повесть о Михаиле Крестовском



ОН ЗНАЛ ВРЕМЯ СМЕРТИ. НЕ ЗНАЛ ТОЛЬКО — ЧЬЁ ОНО

Игнат Осетров

Час, которого не было

<https://litres.ru/74332418>

SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург, белая ночь конца 1870-х. В разгар бала в доме банкира Тучкова находят его самого — застреленным в запертом изнутри кабинете, окна которого зачем-то плотно занавешены, хотя за ними так и не стемнело. Следствие уверено: хозяин заперся у себя три часа назад. Врач уверен: он мёртв уже шесть. Расследовать эту разницу берётся молодой чиновник Михаил Крестовский — вежливый, наблюдательный и совершенно неопасный на вид.

Содержание

Глава первая,	5
Глава вторая,	12
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Игнат Осетров

Час, которого не было

ЧАС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Повесть о Михаиле Крестовском

Игнат Осетров

Содержание

Глава первая, в которой праздник заканчивается прежде, чем начаться

Глава вторая, в которой практический ум торжествует, а истина скромно ждёт своей очереди

Глава третья, в которой подозреваемых обнаруживается в достатке, а виновного — покамест ни одного

Глава четвёртая, в которой прошлое напоминает о себе — и, как водится, с процентами

Глава пятая, в которой призрак называет себя по имени

Глава шестая, в которой круг подозреваемых становится тесен, а совесть — того теснее

Глава седьмая, в которой выясняется, что искать следовало не там, где было страшнее, а там, где было скучнее

Глава восьмая и последняя, в которой белая ночь наконец уступает место самому обыкновенному утру

Глава первая,

в которой праздник заканчивается прежде, чем начаться

Санкт-Петербург в июне не ложится спать вовсе — он лишь ненадолго прикрывает глаза, да и то из вежливости, потому что солнце в эту пору заходить не считает нужным. В десятом часу вечера над Английской набережной стояло всё то же безмятежное молочное сияние, в котором фонарщики выглядели людьми, занятыми делом заведомо бессмысленным, но от того не менее усердным.

Именно в этом сиянии, у подъезда дома банкира Аркадия Валерьяновича Тучкова, останавливались один за другим экипажи, и из них выбирались дамы, чьи причёски были устроены с инженерным тщанием, и господа, чьи бакенбарды свидетельствовали о твёрдости политических убеждений даже в тех случаях, когда самих убеждений не имелось вовсе.

Михаил Дмитриевич Крестовский прибыл пешком — привычка, которую свет находил чудачеством, а сам он полагал единственным разумным способом сохранить ясность мысли после обеда. Молодому человеку недавно минуло двадцать шесть; чин он имел скромный, коллежского секретаря, но носил его так, точно чин этот стеснял его не более, чем перчатка стесняет руку, привыкшую к более серьёзным упражнениям. Строен, худощав, с той сдержанной прямиз-

ной спины, которую вырабатывает либо гвардейская выправка, либо долгая привычка не доверять окружающим своих истинных чувств, — Крестовский производил впечатление человека воспитанного, немного скучающего и совершенно неопасного. Последнее было ошибкой, в которой уже успели убедиться несколько лиц, имевших неосторожность счесть его манеры за всё его содержание.

На вечер к Тучковым он был зван по случайности — вернее, по дружбе с младшим сыном хозяина, Николенькой, легкомысленным студентом, чьё единственное достоинство состояло в неистощимом умении находить общество интереснее себя самого. Крестовский шёл без особой охоты: званные вечера он ценил примерно так же, как визиты к зубному врачу — как процедуру неприятную, но избежать которой в приличном обществе невозможно.

Дом Тучковых сиял огнями, хотя сиять в такую белую ночь особой нужды не было — скорее это была демонстрация, чем освещение. Банкир любил, чтобы видно было: у него есть чем светить. В зале уже кружился вальс, в буфетной звенели приборы, и общий гул голосов имел ту особую тональность довольства собой, которая отличает дома, где деньги давно перестали быть предметом забот и сделались предметом убранства.

Самого хозяина Крестовский поначалу не заметил — впрочем, не заметил его и никто другой, что, как выяснилось часом позже, было обстоятельством весьма примеча-

тельным.

— Он у себя, в кабинете, — небрежно сообщила Николеньке горничная, когда тот в перерыве между танцами вздумал позвать отца поглядеть на приехавшую невесту. — Уж часа два как заперлись-с. Сказали, не беспокоить, дела.

Известие никого не встревожило: Аркадий Валерьянович питал слабость запираяться у себя с бумагами именно в те часы, когда общество веселилось без него, — то ли из бережливости, то ли из тайного удовольствия чувствовать, что дом полон гостей, которых можно не занимать беседой. Николенька пожал плечами и вернулся к невесте.

Крестовский же, стоявший неподалёку с бокалом шампанского, которого не собирался пить, отметил про себя одну малость — не потому, что придал ей значение, а потому, что подмечать малости было у него скорее болезнью, чем добродетелью. Малость заключалась в том, что горничная, произнося слово «заперлись», на мгновение опустила глаза, точно повторяла чужую фразу, которую сама находила не вполне убедительной.

Дальнейшее не заставило себя ждать.

Около полуночи, когда белизна за окнами приобрела тот особый прозрачный оттенок, что бывает в Петербурге вместо настоящей темноты, в зале появился дворецкий — человек почтенных лет и неколебимого хладнокровия, изменившего ему, впрочем, в эту минуту весьма заметно. Он приблизился к хозяйке дома и сказал ей на ухо несколько слов. Госпожа

Тучкова переменилась в лице так внезапно, что оркестр, ничего не подозревая, продолжал играть ещё добрых полминуты в полной пустоте образовавшегося вокруг неё молчания.

Дверь кабинета оказалась заперта изнутри. На стук никто не отзывался. Дворецкий, обеспокоенный тем, что барин не выходит третий час кряду и не откликается даже на настойчивый зов, послал за слесарем из соседнего дома, благо белая ночь превращала понятие «поздний час» в условность.

Крестовский оказался у двери кабинета одним из первых — не по должности, ибо должности к этому дому не имел никакой, а по той же необъяснимой привычке оказываться там, где начинает пахнуть неприятностью. Николенька, бледный и растерянный, стоял рядом.

— Миша, — сказал он, — там что-то не так. Отец никогда не запирается так надолго.

Дверь была массивная, дубовая, с добротным английским замком — из тех, что устанавливают люди, всерьёз опасющиеся за содержимое своих сейфов, а не только за уединение своих мыслей. Слесарь провозился минут десять, чертыхаясь и поглядывая на собравшуюся у двери публику с укоризной, точно это она была виновата в сложности замка.

Когда дверь наконец подалась, из кабинета в переполненный людьми коридор пахнуло странным, спёртым, тёплым воздухом — как из помещения, что простояло взаперти много дольше, чем те три часа, о которых говорил дворецкий.

Аркадий Валерьянович Тучков сидел за письменным сто-

лом, откинувшись в кресле, и был совершенно, необратимо мёртв.

Кто-то из дам ахнул и лишился чувств с образцовой своевременностью. Кто-то из мужчин произнёс «Боже мой» голосом человека, более озабоченного тем, как это будет выглядеть в свете, нежели самой смертью. Николенька шагнул было вперёд, но Крестовский удержал его за локоть — мягко, но так, что возражать не захотелось.

— Пошлите за приставом, — сказал он дворецкому тихо, тем ровным, необидным тоном, которым воспитанные люди отдают распоряжения в чужом доме, будто и не отдают вовсе. — И, будьте так добры, никого больше не впускайте в комнату. Даже из сочувствия.

Сам он остался у порога — переступить черту чужого горя ему казалось делом неприличным, покуда не явится полиция, — но глаза его тем временем делали свою работу спокойно и без спешки, как делают её люди, для которых наблюдение давно стало не усилием, а образом дыхания.

Кабинет был обставлен с тяжеловесной роскошью, свойственной людям, разбогатевшим при жизни, а не унаследовавшим богатство вместе с воспитанием: дубовые панели, кожаные кресла, шкаф с зеркальными дверцами, в которых бессмысленно повторялась люстра. На столе — раскрытая бухгалтерская книга, чернильница, револьвер системы Смит-Вессон, лежавший на сукне на некотором отдалении от неподвижной руки хозяина, будто оружие сперва

воспользовались, а после аккуратно отложили в сторону. На виске покойного темнело пятно, происхождение которого не оставляло простора для благодушных толкований.

Но не револьвер и не рана привлекли внимание Крестовского в первую минуту. Его внимание привлекли окна.

Их было три, высоких, до полу, — в такую духоту, при таком многолюдном вечере, все прочие окна в доме стояли распахнутыми настежь, впуская хотя бы иллюзию свежести. Эти же три были плотно закрыты. И — что было куда примечательнее — на всех трёх окнах тяжёлые бархатные шторы оказались тщательно, до последней складки, задёрнуты, хотя за стёклами по-прежнему стояла бледная, никак не желающая темнеть белая ночь.

Человек, решивший свести счёты с жизнью или подвергшийся нападению в разгар званого вечера, вряд ли станет прежде всего заботиться о шторах. Задёргивают шторы, когда хотят создать темноту там, где её нет. Или — спрятать от посторонних глаз то, что происходит внутри.

Или же — подумал Крестовский, и эта мысль ему решительно не понравилась, — хотят убедить всех, кто войдёт впоследствии, будто в комнате давно царила ночь. В такую ночь, которая наступает не по воле солнца, а по воле того, кто её устраивает.

Он ещё раз обвёл взглядом кабинет — свечи в шандале на столе догорели едва ли не до основания, хотя, по уверению дворецкого, барин заперся в кабинете всего часа три назад,

— и вдруг с отчётливой, неприятной ясностью понял, что три часа, которыми исчисляли всё семейство и слуги, никак не сходятся ни со степенью оплывшего воска, ни с духотой нагретого, наглухо закупоренного воздуха.

Кто-то в этом доме лгал. Возможно, не желая того. А возможно — весьма старательно.

За спиной уже слышались тяжёлые шаги пристава, поднимавшегося по лестнице с той неспешной значительностью, с какой представители власти предпочитают являться на всякое место, где беда уже случилась и торопиться, в сущности, поздно. Крестовский отступил от двери, пропуская его, и в последний раз взглянул на задёрнутые окна.

«Что ж, — подумал он с той лёгкой иронией, которую в подобные минуты позволял себе как единственное средство против неуместной торжественности момента, — вечер решительно не задался. Придётся, кажется, задержаться в этом доме дольше, чем предполагал приличный тон».

Белая ночь за плотными шторами не знала об этом ничего и продолжала стоять снаружи всё так же безмятежно, как стояла всегда — равнодушная к тому, что кто-то только что попытался выдать её за глухую полночь.

Глава вторая,

в которой практический ум торжествует, а истина скромно ждёт своей очереди

Пристав местного участка, Аполлон Спиридонович Голенищев, принадлежал к числу тех должностных лиц, чья уверенность в себе находится в отношении прямо обратном к обстоятельствам дела: чем более запутанным оказывался случай, тем решительнее пристав склонялся к объяснению самому простому. Это было не глупостью — Крестовский достаточно повидал людей, чтобы не путать простодушие с недалёкостью, — а скорее особого рода профессиональной усталостью: человек, двадцать лет разбиравший пьяные драки да кражи бельевых верёвок, встретив наконец нечто действительно достойное внимания, испытывает не любопытство, а желание поскорее вернуть происшествие в разряд привычного.

— Дело ясное, — объявил Голенищев, едва завершив беглый осмотр, продолжавшийся ровно столько времени, сколько требуется, чтобы обойти стол кругом и повторить это дважды для солидности. — Расстройство в делах-с. Вот-с, извольте видеть, книга раскрыта, цифры неутешительные. Изволил, стало быть, свести счёты по-своему.

Он произнёс это с явным облегчением человека, которо-

му не терпится вернуться домой и лечь спать, покуда белая ночь ещё милосердно позволяет делать вид, что дело было решено засветло, при полном рассудке, а не впопыхах.

— Самоубийство, — повторил он, точно пробуя слово на вкус и находя его вполне удобоваримым.

— Простите великодушно, — сказал Крестовский так вежливо, что вежливость эта граничила уже почти с дерзостью, — но много ли вам встречалось самоубийц, отбросивших револьвер на добрых пол-аршина от руки, вместо того чтобы уронить его у собственных ног или удержать в пальцах?

Голенищев моргнул.

— То есть-с?

— И ещё, — продолжал Крестовский, не подходя ближе к телу — помня о собственном же распоряжении не тревожить место происшествия без нужды, — извольте приглядеться к виску: чисто, ни следа копоты, ни ожога кожи. Стеляясь, редко стреляют иначе как в упор — оружие приставляют, а не держат на отлёте. Здесь же, если я правильно сужу по чистоте раны, стреляли не менее чем с аршина.

Пристав нахмурился с видом человека, которого только что заставили работать в неурочное время, и снова наклонился над телом — на сей раз без прежней уверенности.

Тут-то и явился полицейский врач, Вильгельм Карлович Штерн, — маленький, сухой, педантичный немец, чья единственная страсть в жизни состояла, кажется, в том, чтобы

всякий факт был выражен с научной точностью, невзирая на чувства присутствующих.

— Rigor mortis, — сообщил он, ощупав челюсть и запястья покойного с той бесцеремонностью, которую даёт долгая практика, — выражена в шейных и лицевых мышцах вполне отчётливо, в конечностях начинается. Смею предположить: смерть наступила часов шесть, а то и семь назад. Никак не три.

В коридоре стало очень тихо.

— Не может быть, — быстро сказал дворецкий, Фока Кузьмич, стоявший у двери с лицом человека, у которого только что отняли последнюю опору здравого смысла. — Барин заперлись в десятом часу. Я самолично видел, как дверь затворилась.

— В таком случае, любезный, — заметил Штерн, не отрываясь от своего занятия, — либо ваши часы спешат на четыре часа, либо покойный имел обыкновение запирались в кабинете уже бездыханным, что, согласитесь, было бы редкой для банкира привычкой.

Крестовский не улыбнулся — минута была для этого решительно неподходящей, — но отметил про себя, что ирония в устах немецкого педанта звучит убедительнее, чем иной раз звучит правда в устах присяжного поверенного.

Дело, стало быть, обстояло так: Аркадий Валерьянович был мёртв ещё до того, как оркестр заиграл первый вальс, до того, как первый экипаж остановился у подъезда, — задолго

до того часа, который весь дом единодушно называл началом его уединения. А значит, кто-то — не менее часа, а то и не менее пяти — поддерживал перед всем домом видимость, будто хозяин жив, здоров и всего лишь занят бумагами.

Кто-то входил к нему, выходил, отвечал горничным, что барин просит не беспокоить. Кто-то видел мёртвое тело задолго до дворцового — и промолчал.

Голенищев, чья теория о расстроенных делах рассыпалась у него на глазах вместе с профессиональной репутацией, попытался спасти хотя бы часть достоинства.

— Что ж, — сказал он, — тем более ясно, что дело нечисто. Опросим прислугу, всё и откроется.

Опрос начался незамедлительно и продолжался, с перерывами на охи и слёзы, добрый час, не принеся, впрочем, ничего, кроме подтверждения того, что уже и без того было известно с прискорбной ясностью: решительно никто ничего не видел.

Госпожа Тучкова, Екатерина Павловна, женщина миловидная и, по общему мнению света, вполне довольная своим замужеством, отвечала на вопросы с той образцовой сдержанностью, которая у одних людей означает подлинное горе, слишком глубокое для слёз, а у других — многолетнюю привычку не показывать своих чувств никому и ни при каких обстоятельствах. Крестовский, наблюдавший за ней с порога, не взялся бы с уверенностью сказать, к какому разряду отнести данный случай, и это обстоятельство ему решитель-

но не нравилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.